



Елена Гвозденко

Пробудившаяся сила

Сборник новелл

Елена Гвозденко

**Пробудившаяся сила.
Сборник новелл**

«Издательские решения»

Гвозденко Е.

Пробудившаяся сила. Сборник новелл / Е. Гвозденко —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-503503-5

Каким стал бы мир, захваченный Дрожниками? Почему так страшен Оплетай, и кто такие Волкулаки? Знаете ли, чем мучает Бука своих жертв? Перед вами сборник новелл, написанных по народным верованиям и легендам. Тайны, о которых не рассказывали в сказках.

ISBN 978-5-00-503503-5

© Гвозденко Е.
© Издательские решения

Содержание

Оплетай	6
Серафимина тоска	6
Пробудившаяся сила	8
Дикая баба	11
Колдун и тайное естество	14
Бирюк	17
Кикимора кабацкая	20
Дрожники	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Пробудившаяся сила

Сборник новелл

Елена Гвозденко

© Елена Гвозденко, 2019

ISBN 978-5-0050-3503-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оплетай

Серафими́на тоска

Ох и парко, дышать нечем – старшая сноха Фиска белье досушивает. Суется, хлопот. Батяка спозаранку к сватям уехал о припасах сговариваться. Матушка все сундуки перекладывает, приданое Машеньки перебирает. Серебристой рыбкой ныряет иголка в полотно беленое, стежок за стежком расшивает узорами подол рубашки свадебной. Доброе приданое, справное. И ярочки, и телочка, а уж птицы и считать утомишься. Утварь столовая не деревенскими гончарами работана, на ярмарке Петром Захаровичем куплена, вся сплошь разрисована. Не миски – картинки, в пору на стену вешать вместо простовика.

Склонилась над работой Серафимушка, прошву морозными узорами выводит, на Машеньку поглядывает. А Машеньке будто и дела нет, что свадьба не за горами – прядет себе потихоньку, песенку мурлычет. Тяжко Серафимушке, привязалась к девке, будто дочери. Да и какая из нее жена – дите дитем. Но слова Серафимушки в семье Куделиных не слышны. Кто она? Младшая сноха, молодая вдовушка, бездетная к тому же. Приживалка, одним словом. А ведь было все: был муж озорной, веселый, была и доченька, но прибрал Господь ангелочка златокудрого. А следом и Сашеньку веселье сгубило, в пьяной драке душенька с телом распрощалась. И осталась Серафимушка хлебом хозяйским давиться, слезами умыться. Матушка Матрена Спиридоновна еще ничего, терпит молодку. Жалеть не жалеет, да скупа она на жалость, вон и последыша своего, Машеньку, не больно-то жалеет. Батюшка да деверь Егорий молчат больше, а Фиска на упреки не скупится. Ей ли молчать, когда свекровь свою меньшую дочь торопится с рук сбыть?

«Девка – семье обуза. Корми, не корми, все на сторону отдавать, так не лучше ли раньше скинуть?» – увещевала Матрена Спиридоновна батюшку с самого лета. К Покрову, устав от докучливой жены, Петр Захарович решился – пошептался с кумовьями, те дальше слух пустили, мол, созрела девка, и зачастили в избу сваты. А Машеньке будто и дела нет: поет свои песенки, по вечерам бегают.

– Душенька, – допытывалась Серафима заневестившуюся золовку, – скажи, открой сердечко, может мил кто? Ведь сосватают за нелюбого – беда.

Машенька лишь улыбалась и смотрела, не мигая, огромными выпуклыми глазами, будто не понимая.

– А мне-то что? Пойду за любого, чай и ты у нас живешь, привыкла.

– Привыкла, – вздыхала Серафима, поглаживая натруженной рукой мягкий шелк девчачьих волос.

Стежок, еще стежок, не рыбка – слезы серебристые, ниточки души. Голову поднимешь – потеряешься, мелькает все: бегают Гринька с Минькой по лавкам, меньшей Семка ползает под столом, кошку за хвост уцепить пытается. Фиска молчит, лишь печь жарче топит да тесто в кадке бьет злее. Поглядывает на Симу, ждет, что не выдержит сношенька, станет мальцов ее оговаривать. Уж тогда выпустит пар старшая сноха, припомнит ей бездетную утробу да холодность бабскую, что погнала Сашку на пьяную вечерку.

– На вечерке сказывали, – подала голос Машенька, – будто в осиннике за черной балкой появилось чудище.

– Ой, девка, слушаешь ты сказки бабы.

– И не бабы вовсе. Мирон Кривошеин Маруське рассказывал, будто следы странные аж к старому дому Демьяна подходят.

Старый дом Демьяна стоял особняком у самой околицы. Был он заброшен с прошлого года, когда вся семья нелюдимого Демьяна переехала в соседнее село, к доживающим старческий век родителям жены Демьяна. С тех пор про пустующий дом ходили разные небылицы.

– Слушай больше, – прикрикнула на девушку Фиска.

– Будто одноногий кто по снегу пробирался, следы только от левой ноги, а следов от палки нет. И будто бы шаги уж больно широкие.

– Никак оплестай завелся, – застыла Матрена Спиридоновна у сундука.

– Что за оплестай, матушка? – Фиска отбросила выбившуюся прядь и заработала кулаками еще быстрее.

– Чего же ты тесто-то дубасишь, – пришла в себя хозяйка семьи, – чай с любовью месить надо.

– Всех любить, любилка сломается. Я ее для Егора берегу, дабы не тянуло мужика на веселья холостяцкие.

– Охальница, – пожурела свекровь, – постыдилась бы, девка тебя слушает.

– Сегодня девка, завтра баба. Пусть привыкает.

Свекровь лишь вздохнула, старшую сноху не переспоришь.

– Ходила у нас сказочка еще в пору моей молодости. Будто живут на земле чудища, наделенные великой силой. И сила такова, что ни один человек пред ней устоять не может. Будто ходят они споро, убежать от них нельзя. А изловят – оплетают руками и ногами и всю жизнь человечью высасывают. Потому и оплетаями зовутся.

– И как же они всех людей не поели еще, – ухмыльнулась Фиска.

– Так мало их. Да и те, которые есть, живут половинками.

– Это как? – Не выдержала Серафима.

– Вот так: одна рука, одна нога, половина головы.

– Полно, где это видано, что об одной руке да ноге. А нужду тоже половинкой справляют? – Хохотала Фиска.

– Уймись, бесстыжая. Они и на одной ноге передвигаются, но медленно, а одной рукой жертву и не удержишь. Вот и бродят голодные, злые, ищут половинку. А коль отыщут, беда.

– И кого же они ловят?

– Да всех, кто попадется. А пуще всех – безропотных. Медовыми они им кажутся, вроде сдобы сладкой.

– Бросайте свои байки, вон и ребятишек напугали, – Фиска, наконец, оторвалась от теста и полезла под стол к плачущему Семке, который поймал кошку и был за то сильно оцарапан.

– Ишь, дьявольское отродье, – вышвырнула мать на мороз несчастное животное.

Серафима склонилась над работой. Стежок к стежку, половинка к половинке, даже нечисти одной тяжко.

Пробудившаяся сила

И ночами жаркими не уснуть Серафимушке. В груди будто птица, запертая в клетку каменную – трепещется, бьется, коготками царапает. Темно, смрадно, только лампадка в углу тлеет, мигает звездой далекой. Чудится, на печи бабка Агафья ворочается, мается от бессонницы, молитвы шепчет губами иссохшими. Второй год как схоронили Агафью, второй год и пожалеть Серафиму некому.

– Ох, бабонька, силушки ты своей не ведаешь, дремлет она. Ты не смотри, что тихая, буря в тебе до поры зреет. Любви и смирения проси, – приговаривала старая, поглаживая непослушные завитки, укрытые платком.

– Да вроде смиренная я, бабушка, Сашенька мой которую ночь на гуляньях, а я и не ропщу.

– А ты ропщи, не держи в себе, не корми бурю-то. Да и не дело, от молодой жены на гулянья бегать.

Но молчала Сима, все думалось, что сама с изъязном, вон и в родительском доме попрекали, говорили: не девка – колода колодой. А и впрямь колода, другие бы слезы лили, а ей не плачется. Оттаивать стала, как Любушку к груди в первый раз приложила. Смотрела на глазки синие, носик горошинкой и улыбка не сходила с лица. Фиска все ворчала, мол, младенцем будто куклой играет, а дела стоят. Да что ей ворчанье домашних, что хмельная грубость мужа, когда ее Любушка уже и сидеть стала, а потом и ножки пробовать. Шатается, за лавку держится, а топает. И так радостно Симе, так весело, лошадкой скачет, дитя тешит. Только недолго радость длилась, за два дня сгорела в жару доченька. Тогда и слезы, что на век бабий отпущены, выплакала. На мужа, лежащего под святыми, обмытого после лютой драки, не хватило. Окаменела, отяжелела, лишний раз рта не раскроет ответить. Только глядя на Машеньку что-то отзывалось в груди, будто тень Любушки. Но скоро и тени этой не будет, не будет сказок, что сама себе сказывала про выросшую доченьку, про свадьбу ее да счастье семейное. Ничего – пустота каменная.

И вдруг эта птица, манит в снежную ночь, сулит неведомое, тайное. Будто нужна кому, есть ей место на свете этом, неприкаянной.

В предсвадебных хлопотах день что миг, оглянуться не успели, уже Святки – время гулливое, веселое. Тяжко Серафимушке. На обеды чинные, семейные идти не хочется, все с мужьями, детками, только она былинкой на ветру. К молодежи не приобщешься, срок вышел. Пока домашние по родственникам да соседям, все больше с ребятней Фискиной забавляется. Днем-то еще ничего, в играх да сказках день проходит, а как темнеть начинает, деток спать уложит, так совсем тоскливо. Выйдет за ворота, отовсюду смех, песни, а ей плакать хочется. Только вьюга и подхватывает, будто утешает. То снежным пухом приласкает, то бросит в лицо горсть льдинок – остудить. Несут Серафимушку ноги неведомо куда. Все чудится, за полотнами белыми отыщет она что-то, что давно потеряла. Каждый вечер приходит к старому дому Демьяна, в место безлюдное, темное, кустами, словно забором отгородившееся. Перелезет через частокол, потопчется у обвалившегося крыльца, прижмется к промерзшим стенам щекой, мерещится, что ее это дом, а в нем семья большая: муж с руками сильными да детишек мал мала. Жарко топится печка, на лавках пироги душистые. И оттаивает льдина, что в груди притаилась, уж и дышать легче, стихает запертая птица.

К своим возвращается за полночь. Они молчат, лишь переглядываются. Фиска на время язычок прикусила, очень хочется повеселиться вволю в праздничные дни. Даже слухи о разгулявшейся нечисти не пугают.

А между тем на посиделках только и разговоров было, что о беде одноногой. Степан Колодников говорил, будто бы видел во дворе тень странную, человек-не человек, вроде половины.

– Выскочил я на крыльцо, в чем был, а оно уже до забора допрыгало. Раз – и переметнулось, только его и видели.

– Да после столов богатых и не такое пригрезится, – подсмеивались над Степкой.

Но на следующий день стали замечать, что с дворов птица домашняя пропадать стала. Кто курицы не досчитается, кто гуся. А тут еще старая Метелиха по дворам пробежалась, всем про беду свою рассказать. Будто постучали в окошко среди ночи. Она подумала, что ряженные пришли, дверь отворила, а там стоит непонятно кто – огромный, лохматый.

– А глаза как поленья в печи горят. Увидел меня, промычал что-то. Потянулся ко мне руками, а тут кошечка моя за дверь выскочила. Он ее схватил, сжал так, что из кошки и дух вон, отбросил в сугроб и через ограду выскочил. А руки у него, руки-то, что оглобли.

Но не ходит вдовушка по гостям, не слышит разговоров праздных. А домашние тоже помалкивают, лишь косятся. Фиска с матерью перешептывается. Слышит Серафимушка, будто спровадить ее хотят в дом родительский, мол, страшно с ненормальной жить. Но не трогают бабоньку слова пустые, все ждет, как прикроется синим пологом свет белый, потянет ее подружка-метелица к пустому дому, сползающему к черной балке. А там сон ли, явь, но успокоится сердечко, дождется судьбы своей. С вечера идти побоялась, домашние, растревоженные слухами, по дому шастали, скучали в праздности. Еле дождалась, когда уснули, выскочила на крыльцо, а следом Матрена Спиридоновна:

– Куда? Не пушу. Что задумала, бесстыжая, к кому по ночам бегаешь?

Вернулись в дом, а там уже и Фиска поджидает – руки в боки:

– Сказывай, куда ходишь? Не дам семью позорить, ишь тихоня.

Молчит Серафима, да и что ответить? Что и сама не знает куда и зачем? Разделась, легла, а уснуть так и не сумела. Слышится, будто скребет кто в окно: «Сима, Сима».

К вечеру следующего дня Машенька к подружке на гаданье засобиралась. Всей семьей отговаривали, уперлась девка.

– Распоследнее мое девичье гаданье, как пропустить? Да и подруженьки все будут, сговорились уже гадать в доме Варварки Перелетовой.

– О чем гадать-то, заполошная, все угадано, – не пускает Фиска.

– Свадебный поезд у порога, а она, ишь ты, гадать, – вторит мать.

– Не ходи, – схватила Сима за рукав молодую золовку.

– Отстань, приживалка, – отдернула руку девка. И то, родителей теперь слушать незачем, последние деньки в отчем доме, а уж юродивую-то.

– Не ходи, – не отстаёт вдова. Сжалось сердце, беду чуя.

– Вот еще. Сказала, пойду, значит, пойду!

Договорились, что до дома Варвары сестру проводит Егор. Он же и забрать обещал ближе к ночи. Ушла Маша, а Сима места не находит, за что ни возьмется, из рук валится.

– Уймись, леворукая, – не выдержала Фиска, – пойдешь мальцам сказку какую Расскажи, пока все горшки не перебила.

Бормочет что-то Серафимушка, а сама в темнеющее окно поглядывает. Вот и звезды на небе выступили, ясная ночь, морозная. Жарко печка топится, пироги на подходе. Но не празднично на душе. Как управились, Егор засобирился, только опередили его.

Дверь отворилась, и в облаке морозного пара появились девушки – раскрасневшиеся, наспех одетые.

– Пропала Машка.

– Как пропала? Куда делась?

– Пошли мы во двор гадать, бросать валенок через забор, – сбивчиво рассказывала Варвара, – мы все в улицу кидали, а Машка говорит, что бросит в огород.

– Мол, сосватана и хочет посмотреть, правду ли гадание говорит, – перебила молоденькая Нютка.

– Бросила валенок, а за оградой и впрямь, будто кто поджидал. Мы идти побоялись, а она пошла.

– Только слышим, крик Машкин и дышит кто-то по-звериному.

– Мы к забору, а там тень огромная. Не бежит, а словно прыгает.

– А Маша, Маша где? – Вскинулась Матрена Спиридоновна.

– Так утащил. К черной балке понес. А мы сразу сюда.

– Кто утащил-то?

Ответа Серафимушка не услышала, она уже бежала к старому дому. Бежала, не замечая мороза, что впивался в обнаженное тело сотнями иголок, не слыша, как за спиной оживало село, наполняясь тревожными криками.

– Машенька, – крикнула в темные кусты, ошетилившиеся застывшими ветками. Тихий стон – жива!

У крыльца черная фигура, склонившаяся над девушкой.

Кинулась к Маше, дышит. Потерла щеки снегом, дыхание стало громче. Девушка открыла глаза и в ужасе закричала. Только тогда Серафима разглядела похитителя. Огромная фигура, покрытая редкой бурой шерстью с седыми проплешинами, будто сшитая из двух половин багровыми нитями, длинные ноги с вывернутыми ступнями, но страшнее всего голова. В лунном свете ясной ночи она напоминала перевернутый кочан капусты, зеленоватая кожа, испещренная глубокими морщинами, в которых спрятался рот. И лишь глаза красноватыми угольками смотрели, не отрываясь, на Серафиму.

– Отпусти ее. Меня возьми.

Маша отползала к ветхому забору. Казалось, оплестай не замечает девушку.

– Сима, бежим, – позвала золовка.

– Нет, иди, я останусь, – стоило ей повернуться на слова Маши, как чудовище злобно зарычало.

– Я к тебе пришла, – Серафима решительно шагнула вперед. И в тот же миг ощутила цепкие объятия, руки, ноги оплетая скручивались, стягивали, впивались в плоть, рвали кожу. Чудище со свистом вдыхало, вытягивало ее жизнь.

«Силушка в тебе великая, – будто шепнула на ухо старая Агафья, – о любви моли».

– Любушка, Маша, – выдохнула Сима и, зарывшись в щетинистую грудь, сделала вдох. Смердный дух наполнил тяжестью. Оплестай ослабил хватку.

– Серафима, Серафима, – кричала многоголосая толпа.

– Серафима, – выдохнула черную вязкость и сделала последний вдох...

Когда сельчане, наспех вооруженные топорами и косами, заполнили двор старого дома, то увидели два переплетенных бездыханных тела, над которыми плакала Маша. А в черном небе кружила ночная птица, гася звезды.

Дикая баба

Съездить в Утопье меня уговорил знакомый извозчик, которого я случайно встретил на постоялом дворе. Год назад мы с Парфеном объездили не одну деревеньку в поисках народных легенд. Впервые услышав о цели моих поездок, извозчик лишь снисходительно хмыкал, но вскоре и сам увлекся «сказочками», подарив мне несколько замечательных историй.

– Мы Матренку свою в это Утопье сосватали. Ничего, семья справная. Так у свата кум сам от дикой бабы пострадал, – надрывный голос возницы перекрикивал разгулявшуюся вьюгу.

Ехали мы накануне Николы Зимнего, в суетливое время предпраздничных хлопот, навевших на меня тоску.

– А что, барин, женкой не обзавелись еще?

– Нет, Парфен. Все ищу подходящую.

– Оно понятно, дело барское. Да и по нашему, мужичьему разумению, главное в доме – лад. Мы вот со своей...

Я слушал прерывистый рассказ Парфена, сливающийся с воем ветра, скрипом полозьев и представлял нашего героя, удачно использовавшего суеверие для прикрытия адюльтера. Дикая баба, Летавица, символ соблазна, страсти. Златокудрая девица, под чарами которой любой мужчина делается мягче воска. Встретить ее можно на гороховом поле. Оно и понятно, горох для крестьян – лакомство, им детки да бабы балуются. Носит Летавица сапоги – скороходы, в которых вся ее сила, мол, отбери сапоги и станет она кроткой, послушной. Ох уж наше мужское желание усмирить страсть до подчинения!

– Вот я и говорю, барин, кабы не Авдотья, сгинул бы сватов кум.

– Авдотья? А кто такая Авдотья?

– Да ты, барин, не слушал меня, женка этого бедового, Фомки. Спасла тогда Авдотья не только мужа, но и ребятишек окрестных.

Летавице мало мужского обожания, она против всей сущности женской, против материнства. Народ верит, что там, где она появляется, гибнут дети, якобы высасывает она из них кровь юную. А не то ли наши светские прелестницы, ограничивающие свое влияние на чад лишь условностями приличия? Няньки, гувернантки присматривают за дитятей, пока мама в новинках – скороходах обольщает очередную жертву на балу.

Вьюга набирала силу, взметая белые полотнища, пригибая к сугробам черное кружево голых ветвей.

– Эх, погодка, – с какой-то удалью кричал Парфен в снежную пелену.

– Не заплутаем?

– Не должны. Тут уже близко.

И правда, сквозь заунывность метели, раздался собачий лай. Лошадки побежали быстрее. Черные избы, распластанные под тяжестью снежных крыш, казались совсем уж крошечными.

– К свату сначала заедем, пусть он кума предупредит, – твердо заявил возница, но тут же, осекшись, пробурчал, – народ у нас, сам знаешь, барин, не каждому готов байки рассказывать. А тут свояк, не откажет.

– К свату, так к свату. Посмотрю на твою дочку.

В жарко натопленной избе свата всегдашняя крестьянская круговерть. Матренка, вместе со старшей хозяйкой, хлопотали у печи, еще одна молодка собиралась к проруби, белье полос-

кать. Сыновья что-то мастерили во дворе. Сам хозяин сидел у окна и починял тулуп. Завидев гостей, домочадцы набились в избу, посмотреть на барина, что привез им сват. А Парфен, гордый знакомством со мной, чинно перекрестился, с каким-то подчеркнутым достоинством представил меня, а уж потом полез за пазуху и вытащил узелок – гостинец дочери. Этот узелок смутил меня, не выдумал ли хитрый мужичок историю, чтобы прокатиться с оказией до своего чада?

Уже за чаем, барской забавой, ожидая кума Фомку, за которым послали старшего сына, хозяин, седой Макар, похмыкивая в пегие усы, подтвердил:

– Было дело, барин, годков пятнадцать тому. У нас вся деревня чуть не сгинула тогда, ребяташки умирать начали.

– А сам-то видел Летавицу?

– Бог миловал, – Макар перекрестился, – ну ее, нечисть поганую. Слышал, много семей порушила, парней до петли довела.

– Будто и удержаться нельзя? Чем же она так хороша?

– Чем хороша, не знаю, не видывал, – хозяин перешел на шепот и все косился в угол, где гремела ухватами жена, – а люди говорят, что уж больно в ведьмовстве сведуща. Тем и прельщает. Да об этом лучше с Фомкой говорить.

В дверях появился Фомка, окутанный туманом морозного воздуха. Высокий, статный, в длинном полушубке, с заиндевевшей бородой, словно Мороз Иванович из сказки.

– Здравья, честной компании, – протрубил, перекрестившись.

– По твою душу, гостюшки дорогие, – подскочил Макар к приятелю, – снимай, снимай, что застыл-то? – Хозяин стащил с гостя тулуп и подтолкнул к столу.

Фомка присел на самый краешек лавки.

– Я, Фома, хочу у тебя расспросить про Летавицу, слышал поди, я собираю подобные истории.

– Как не слышать? Парфен всем похвалялся знакомством со знатным барином.

На эти слова возница хмыкнул, озорно поглядывая на меня.

– Эх, Парфен, Парфен, – укоризны не получилось, я рассмеялся, – так Расскажи. Я специально сюда приехал, рассказ твой послушать.

– Да я, барин, не знаю, что и рассказывать, давно это было.

– А все рассказывай, как ее увидел, какая она.

– Помню, возвращался тогда с сенокоса. Жаркое лето было. Еду себе потихонечку, лошадкой правлю аккуратно, сенцо не растряссти бы. А ехать аккуратно мимо поля, горохом засеянного. Вижу, вроде тень какая. Я еще подумал, мол, малыцы безобразят. Они ведь, барин, не столько съедят, сколько потопчут, поломают. Спрыгнул с телеги, решил посмотреть, не пове-ришь, ниоткуда фигура девицы в одной рубахе посконной. Высокая, статная, волосы лентой собраны. Тут она за ленту потянула. Видел ли ты, барин, как волнуется спелая пшеница, волнами золото разливает? Вот и коса у той девицы будто та самая пшеница. Оторопь меня взяла, ни слова вымолвить не могу. Летавица изогнулась, рубаха с нее и спозла...

– Ну, ну, кум, тут бабы, – одернул рассказчика Макар.

– Ходить стала ко мне по ночам, – тихо пробурчал Фома, глядя в темный угол избы долгим, отстраненным взглядом.

– А как же жена твоя?

– Авдотья-то? Авдотья спала беспробудно, видно эта ведьма колдовала что. Опротивела тогда мне жена, просто дух схватывало. Казалось, что дышать рядом с ней не могу. А уж в постель одну ложиться или еще чего, так сильнее пытки и не представить. Лежу, бывало, по ночам, боюсь глаз сомкнуть, жду. Но все-равно ни разу не видел, откуда Летавица берется.

Вроде и моргнул только, глядь, уж она в ногах у нас лежит, посмеивается. Всегда в ногах лежала.

– Кум, кум...

– Да не бойся, я меру знаю, – в голосе Фомы появилась твердость.

Тело белое, будто светится, сеткой золота прикрыто, такие узоры золотошвейки вышивают. Хочет Фома дотянуться, достать, а Летавица лишь рукой махнет и будто придавит к перине – не шелохнуться. Извивается змейкой, щекочит волосы, вспыхивает тело смешливой радостью. Девица все выше, выше, телом мягким и холодным, будто снежок, укрывает. И от этого льда закипает кровь, мутнеет в голове. И нет больше мира, есть только она, ее руки быстрые, груди налитые, губы, узелками поцелуев стягивающие. И одна только мысль, не кончалась бы ночь, не исчезала, не рвала эти узелки Летавица. И что ему за дело, что Авдотья ходит с глазами красными, противна она, прошлогодняя солома сухая, а не баба. Сгорит, не заплачет. И что ему батя и матушка, с укоризной поглядывающие? Нет больше иного, нет семьи, ничего не осталось в этом мире, только она.

– Заморочила она меня тогда совсем, барин. Ничего вокруг не видел. Поговаривали, что на деревне младенцы умирать начали. У Петровых в родах помер, Малашка Забейкина при-спала.

– И долго она к тебе ходила?

– Почитай месяц. Авдотья спасла. Как уж она проснулась – неизвестно, да только и увидела все. Поначалу остолбенела, а потом ахнула, подобрала что-то с пола, зажала в кулачке, да на Летавицу бросилась. Схватила за волосы и ну давай трепать. Та вырвалась, встала во весь свой немалый рост и говорит, мол, оставлю тебе твоего Фому. Он уж мне без надобности, раз жена у него такая бесстрашная. Сказала и растворилась, будто и не было.

– Жалел?

– Что греха таить? Почитай год тосковал, ушел в извозчики. Мои и не держали. Еду, бывало, а сам только ее и вижу, все мечтал встретить случайно.

– И как излечился?

– Не знаю, может время пришло, а может чудо помогло. Был я с одним купчиком на ярмарке. Прогуливался по рядам, вижу лавка с безделицами, свистульками детскими. Решил в подарок сынку привезти, он у нас тогда еще малой был, свистульки эти очень любил. Зашел я в лавочку, а там свист, шум, смех детский. Вспомнил я тут и про сынка, и про Авдотьюшку свою, затосковал по дому. Как вернулся, так и жизнь наша на лад пошла. Еще пятерых деток нам с Авдотьюшкой Бог дал.

– А ты жену не спрашивал, что она тогда с пола подняла?

– Так свистульку сыночка и подняла. Наступила на нее ножкой босой и будто в чувство пришла.

К вечеру метель успокоилась, мы решили возвращаться. Парфен ехал молча, лишь сильнее кутался в меховой ворот. Было тихо и безветренно, лишь бесконечные белые равнины, покрытые серым небом. И вдруг в прорези разреженных туч проглянули золотистые лучи, будто волосы загадочной прелестницы. И сразу заискрилось, засверкало все вокруг, покрылось недолгим блеском...

Колдун и тайное естество

Суетливый августовский день уходил на покой, натягивая полог темнеющего неба. И только на западе по-осеннему щедрое солнце окрашивало мир медовыми красками. Был тот удивительный час, когда среди шума спешащей дохлопотать деревни вдруг наступает миг тишины, и, кажется, что у суток наступает свой конец лета.

«Ишь, как солнце земельку золотит, будто маковки церковные, – Михайло сидел на лавочке у ворот, – вот смотришь днем, подсохла травушка, пожухла, скоро размокнет, почернеет под дождями нудными, а сейчас глянешь, и такая красота, что дух захватывает. Сколько лет живу, а удивляюсь, будто в первый раз вижу».

Уже неделю я навещал старика в его доме, слушая рассказы о забытых традициях, обрядах, о том, что крестьяне стесняются рассказывать «барину», опасаясь насмешки. Мимо промчался босоногий чумазый малец с огромной головкой подсолнечника. Гремели подойники, по-вечернему призывно мычали коровы, где-то заливисто лаяла собака, что-то скрипело, стучало, шуршало, а старик все молчал, вглядываясь в разливы охры.

Наконец он очнулся: «Не знаю, барин, что и рассказывать-то. Ты все о колдунах да ворожеях спрашиваешь, об этом лучше с бабами толковать, они уж больно до суеверий охочи. Как начнут рассказывать – не разберешь, где правду говорят, где приврут, только бы их слушали. И ворожкой, все больше, бабки промышляют. Какая, скажем, травки знает, отвары там всякие делает, к той и уважение, а есть такие...

Помню, лет двадцать назад, забрела к нам в деревню ведунья. Походила, на избы наши бедные посмотрела, пошептала, поплевала, да и говорит честному народу, мол, беда в вашей деревне, вижу колдунов скрытных много, от того и бедность и всякий мор вас одолевает. В тот год засуха была страшная, голодали сильно. Баба эта пообещала извести чародеев, всех до единого, за работу запросила пятьдесят рубликов. Мужики ее и прогнали. Это что же получается, мы ей обществом деньги, а вдруг и правда, изведет? Кто за них подати платить станет? Только, думаю, зря мужики боялись, выдумки все. Уж больно ушлая знахарка-то. И не бывает колдунов много, ими становятся от пустоты душевной, от того, что ни любви, ни страха нет. Редко настоящего колдуна встретишь, а так все больше тех, кто народ пугает. Ой, барин, была тут у нас одна история, но уж не знаю – рассказывать или нет».

«Отчего же не рассказывать, я все твои истории записываю», – смущение Михайло подогрело интерес.

«Да уж стыдная история-то. О ней никто вслух не говорил, шептались по углам, а тебе, барин, подавно стыдно рассказывать», – по лицу старика расползались малиновые пятна. Коричневые веки без ресниц прикрыли светлые, почти детские, глаза.

«Теперь рассказывай, раз начал», – подбодрил я.

«Давно это было, теперь уже не вспомню когда. Я в ту пору только обвенчался. Жил у нас на деревне один бобыль, по имени его никто не звал, все больше по прозвищу Рубель. Откуда он притерся в нашу деревню, почему один проживал, вот хоть убей, не скажу. А мужичок работающий, справный, да только обличьем страшный, весь какой-то как доска необтесанная: длинный, неуклюжий, еще к тому же рябой и в морщинах, хоть и не старый еще. Рубель – рубель и есть. Сватали его за девок, за вдовиц сватали, плохо мужику без бабьих рук управляться, никто не идет. А тут слух прошел, мол, женится наш Рубель, невесту аж за тридцать верст подыскал в Осиновке, Агапку Морозову. А что для славы худой тридцать верст? Про эту Агапку и до сватовства шептались, очень уж она гуленою была. Одна дочка у отца – матери, они ей во всем и потакали. Как в возраст вошла, родители видят – дело плохо, стали жениха

подбирать, только слухи уж и окрестные деревни обежали. Гуляли-то с ней многие, а вот под венец вести желающих не нашлось. У нас и сейчас испорченная девка – позор несмываемый, а в те времена... Родителям до самой смерти эту ношу нести приходилось. Обычай у нас такой, наутро после ночи брачной, подносят рюмку матери молодой жены, дружка подносит. И коль испорченной невеста оказалась, в рюмке пробивают дырку. Подносящий-то пальцем придерживает, наливает, а как мать берет – тут вино и выливается. А мать пьет и плачет. Вот и задумала Агапка позора избежать».

Да, послала судьба жениха, страшнее только старый Аким, морщинистый, беззубый, лысый. Так старику-то скоро девяносто, и под венец никого не ведет. Уж как Агипия плакала, как пугалась суженого поначалу-то. А куда деваться, не в девках век куковать? А тут, даст Бог, овдовеет скоро, а там – полная свобода. Да и любя Рубелю, сразу видно, не смотрит, будто ест глазами-то. Рубель, ишь ты, сама так стала называть. Еле дозналась, как зовут, он уж и сам стал забывать имя. Никита, Никиткой крещен. Пережить бы свадьбу, избежать позора. Мать суетится, добро перебирает, все слажено, все обговорено, день назначен. Что делать?

Приехала тетка Нюська, подсобить матери. Вот с кем и посоветуюсь. Ох и ругала тетушка, за косу таскала. Хорошо хоть мамаша не видела. Еле уговорили их отпустить в Петровское, в дом к тетке на денек, мол, только в Петровском рукодельницы такие покрывала невестам расшивают, что глаз не отвести. Сговорились к ворожею ехать, а с покрывалом как выйдет, может и получится где выкупить. Тетка Нюська лошадку погоняет, а сама кричит на Агапу, никак не уговорится. В сердцах даже кнутом замахивалась, Бог миловал.

«Отговаривать пытались Рубеля, а он только молчит и глазами сверкает. До той поры никто от него плохого слова не слышал, а чтобы в драке замечен был – никогда. А тут за одну неделю три раза подрался. Отступились мужики, бабы за дело взялись. Приходили к нему вечерами, вроде как избу к свадьбе готовить, да судачили. Осунулся, почернел жених-то, запирается стал. У нас до сей поры редко кто на запор замыкает. Но недолго закрытым просидел, как без баб столы готовить? Всем миром помогали Рубелю: кто одежду справил, кто пироги напек, кто капуста и прочего из дома принес, а кто с посудой подсобил. Не хуже чем у других подготовили» – пока старик говорил, солнце спряталось за пригорок, оставив лишь розоватые блики на пенных облаках. Заметно стемнело. Какая-то баба, из домашних Михайло, уже несколько раз выходила за ворота кликать рассказчика вечерить. Старик лишь отмахивался, было видно, давняя история его веселит. Близость развязки погасила неуместное смущение. Он заглядывал в мои глаза, подготавливая к неожиданной концовке, высматривая первые признаки изумления.

Только бы получилось, вся надежда на тетку. Не должна ворожея подвести, десять рубликов взяла за услугу-то. Едет поезд, колокольчиками позванивает. Вот и околица, надо покрепче держаться.

«Веришь ли, барин, как стал поезд свадебный из Осиновки выезжать на венчание-то, так у самой околицы лошади вдруг зафырчали, стали, а первая-то, с женихом, на дыбы поднялась, чуть их с дружкой не скинула. Рубель спрыгнул да повел под уздцы. Еле добрались. Наши-то судачить, мол, не будет молодым счастья, примета плохая, знать какому колдуну дорогу перешли. Но свадьбу веселую отыграли, две деревни гуляли. Пришла пора молодых в опочивальню вести, у нас раньше всегда для молодых готовили отдельную пустую избу под опочивальню. Устраивали все по обычаю: непременно, чтобы двадцать один тюфяк, набитый ржаной соломой, да образа на каждой стене и в изголовье, да чтобы изба нетопленной, выхоложенной была.

Перед тем, как вести, дружка брал блюдо с жареной курицей, накрывал рушником с хлебом, солью и относил к молодым на лавку. И все под девичье пение.

Только они затянули песню, как с невестой что-то случилось – упала, забилась, а потом и вовсе стала как мертвая. Наши бабы заохали, запричитали. Старуха одна, дальняя родственница молодой, запрыгала, по-собачьи залаяла, гостей зубами стала хватать. Светопреставление. Кто кричит, кто плачет. Тетушка ее на родителей да на жениха набрасывается, говорите, мол, какому колдуну дорогу перешли. Это у лебедушки нашей тайное невестино естество украли, не иначе. Такое только сильный колдун сделать мог, не зря лошади в церковь не шли. Ищите, кричит, это ее естество в доме где-нибудь. А как найдете – в себя любушка наша придет. Бабы подхватились и ну давай по горшкам и корзинам шарить», – старик замолчал. Смех душил его, не давая закончить.

Я не выдержал первым: «Нашли естество-то?»

«Нашли, как не найти. Под чугунной сковородой было. Как обнаружили, невеста задыхалась скоро-скоро, приподнялась – ожила, одним словом. Рубель обрадовался, подхватил свою ненаглядную да и унес. И все бы получилось у Агапки с теткой, кабы не любопытство бабье. Стали они разглядывать находку и разглядели не естество, а сушеную куриную кожу. Агапку так и прозвали у нас Курочкой», – Михайло так заразительно смеялся, что я не выдержал. Перед глазами вставали картины невестиного обморока, кликушествовающей, кусающейся старухи, истеричной тетки, поиска этого самого естества по чугункам и всеобщий смех, когда дотошные крестьянки разглядели пупырышки и приставшее перышко.

«А как же лошади? Почему они везти не хотели?»

«Лошадки-то? Ворожея умела кое-что, потом допытались. Мальчонка из Осиновки проболтался. Он рассыпал на дороге порошок аккурат перед свадебным поездом. Тетушка ему за это пряник посулила. Говорят, что некоторые для ворожбы высушивают волчье сердце. Сердце ли, еще что, но только, скорее всего, с волчьим запахом порошок-то был. И знаешь, барин, что странно – хорошо Агапка с Рубелем жила, в любви и согласии. Детишек наплодили. Поначалу пытались к молодой жене ухажеры прежние заглядывать, но она их быстро отучила... сковородкой чугунной».

«Никак той самой, под которой естество нашли, – не выдержал я.

«Той ли, какой другой, да затихли сплетники. Родителям Агапки позора не помнили, разве кто скажет к слову, рассмеется над хитростью бабьей, да и забудет».

Бирюк

Разомлел в избе Макар. Поглядывал осоловевшими глазами на молодую хозяйку, нарочито гремющую ухватами, и тяжелели веки. Тепло, пробравшееся под новую рубаху, ласкало уставшее тело.

Хлопнула заиндевшая дверь в сенцах, послышался легкий топот хозяина, стряхивающего снег с валенок, шуршание веника. И от привычных звуков тянуло в сон. А стоило закрыть глаза, как Матреша в праздничном платке, румяная с мороза, манила, тянула долгим взглядом.

– Ишь, расселся, – шептала Анфиска вернувшемуся со двора мужу Василию, – гляди-ка, спать завалился. И как теперь на службу пойдем, не оставлять же дом на проходимца?

– Тише ты, тише, – увещевал расходившуюся жену Василий, – с собой возьмем, поди не басурманин.

– Ага, а потом расспросами измучают, что за родственник объявился. Хоть бы матка дома была, а то гостит, и дела нет.

– Сама же радовалась, что к Катюхе ее провожаешь. Да и приедут завтра, всем семейством приедут: сестрица, муж, ребятки. И мамку привезут. Как отца схоронили, не много ей радости осталось.

– Я-то думала вдвоем в кои веки, а ты приволок проходимца.

– Не ругайся, милая, – подал голос Макар, – с вами на службу схожу. Подальше встану, если меня смущаешься.

Он знал, что никуда не уедет из этого дома, останется тут и на праздник. Какая-то неведомая сила, до поры дремавшая в тайных глубинах, решила все за него. Нужно было задержаться здесь, в этом доме. Почему именно здесь, он и сам не знал. Но сопротивляться не мог, как не сопротивлялся, когда накануне светлого праздника эта сила понесла его в родную деревню, в дом, где много лет назад был счастлив со своей Матрешей. Будто и не было того черного дня, когда ставил крест. Не ей – себе. Закрыв себя тем крестом на многие годы. Оставил избу брату, а сам вон из стен, в которых витал дух Матрешы, от горшков, уныло темнеющих на полке без тепла хозяйкиных рук, от выскобленного добела стола, от насмешливых веселостью сотканых занавесок.

Скитался по работам, лелеял неприкаянность. Избегал людей, забиваясь в дальние каморки или прикрываясь набухшими, в складках, веками. Он давно потерял счет годам, что мелькали чередой новых хозяев. Тоску глушил тяжестью работы. Прибился к купцу Ивану Борисовичу Семенчикову, к суетливости торгового быта, на масленичной неделе. А уж к Святой Седмнице управлять посудной лавкой стал. Наладил роспись по горшкам и мискам, еще в деревне своей баловался, соседей одаривал. А тут и помощник подвернулся, смышленный Никитка. И совсем уже обживаться стал, успокоилась в душе буря, что несла по новым местам.

Перед Рождеством еле доползал до своей каморки, валился на лежанку, перекрестив лоб, и забывался в темном небытии. И уже совсем перед праздником из черноты, из беспамятства, проступило лицо Матрешеньки. Будто смеялась, манила пальчиком с поблескивающим колечком. С рассветом зашел в контору к Семенчикову.

– Я, того, уезжаю.

– Как? Что? Да одумайся, – купец подскочил так, что стакан с чаем опрокинул.

– Прощайте. Благодарствую за хлеб-соль.

– Да постой ты, окаянный. Куда ты? К брату? Так отпразднуешь – возвращайся.

– Не могу обещать, Иван Борисович.

– Да кому ты нужен-то у брата? А здесь тебе почет, уважение. Хочешь, сосватаем, найдем невесту достойную. Своим домом заживешь? – увещевал Семенчиков.

И от упоминания о сватовстве, о своем доме, помутнело в глазах Макара.

– Благодарствуйте, – выдавил и бегом из конторы.

– Стой, стой, расчет-то возьми, – неслось в спину. – Бирюк, как есть бирюк.

Но он уже не слышал, он ничего не слышал, кроме воя вьюги, в которой звенел смех Матрешки.

Сговорился с обозом, заплатил, не торгуясь. Торопился, будто боялся, что не дожидается Матреша, исчезнет, растворится в снежном хороводе. Попутчики веселились, травили байки, отхлебывая из бутылей, завернутых в тряпицы. Предлагали и ему, он лишь отмахнулся.

– Бирюк, бирюк, – таяло в морозном воздухе.

К вечеру добрались до постоялого двора. Мужики в расстегнутых тулупах жались к печке. Из разговоров понял, что собираются заночевать, рисковать в буран желающих не было. Но тошно было Макару, не мог он ждать, ему бы на волю, в беспмятство ледяной пляски, под ветер, вымораживающий до души.

– Торопись, милоч, – пожалела хозяйка.

– Угу.

– Какой ты, право, бирюк. Скоро Николай поедет, ему буран нипочем, сговорись, может, возьмет в попутчики, – махнула острым подбородком в сторону кудрявого молодчика.

И вот уже не пар от раскаленных горшков – белое лицо Матрешеньки со смеющимися глазами.

Сыпал, не считая, лишь бы быстрее, лишь бы не сидеть в духоте, забивающей горло. Николай обещал сделать крюк в десять верст, но доставить прямо к дому.

Понеслись! Лишь тонкий скрип полозьев да покрякивания возницы, вторящие заунывной вьюге. Поначалу Николай что-то спрашивал, о чем-то говорил, но, наткнувшись на тяжелый взгляд Макара, замолчав, буркнув: «бирюк». А Макар закрыл глаза, жадно вслушиваясь, карауля Матрешин смех. И услышал! Заливистый, счастливый, как в первый год после венчания, когда еще не умела хоронить младенцев, рождающихся мертвыми каждый год. Смех звучал так громко, что Макар не сразу разобрал, что ему кричит Николай.

– Спишь что ли, бирюк? Гляди-ка, лошадь встала. Что такое, не пойму, – и уже к лошади, – но, но, проклятая, чтоб тебя...

Макар не дослушал, спрыгнул с саней и напрямки к темнеющим впереди домам.

– Куда? Еще далеко, вернись, замерзнешь же, – неслось в спину.

Раздалось фыркание, и лошадь дернулась, а потом и припустила по укатанной дороге.

А Матренушка манила, летела белым облачком над нахохлившимися сугробами, нырнула под воротца дома, где сердитая Анфиса ворчала на своего Василия.

– Придут, радости-то. Не зря говорят: «золотка – змеиная головка».

– Зря ты так, Катюха тебя любит. И Митька тоже. А уж мальцы... – Василий не договорил, Анфиса зашлась в тоскливом плаче.

– Не плачь, милая, – Макар протягивал что-то из заветного узелка, подвязанного к поясу, – подарок тебе к праздничку.

Анфиса с удивлением рассматривала искусно сделанную шкатулку с младенцем-ангелом на крышке.

– На будущее Рождество и в вашей избе люльку ладить придется, – повторял Макар за Матрешей, примостившейся на потолочной балке.

– Откуда ты знаешь? – Анфиса с интересом глянула на Макара.

– Знаю, милая.

Как много пустых слов. Он просто знал. Как понял сейчас, что встретит свою Матрешу завтра. И совсем не важно, что зовут ее по-другому, что она третий год вдовствует, тайком

плача от укоров бездетной снохи. Знал, что посмотрит глазами Матрешиными и зальется веселым смехом, принимая заветное колечко, что столько лет хранил на груди в ладанке.

Кикимора кабацкая

В придорожном кабаке за темным, в пятнах и разводах, столом, у прокопченного мутного окошка сидели два крестьянина села Ухватово Гришка Лиховец да Мишка Востронос. Кабак тот стоял в трех верстах от села, у самого тракта. По понедельникам и пятницам, когда в Ухватово проходили большие базары, здесь было многолюдно. Но сейчас кроме этих крестьян сидел в нем угрюмый Никита из Волосников, у которого проси – не проси, мухи из чарки не выпросишь. Гришку и Мишку давно бы выгнали в базарный день, но сегодня целовальник наблюдал за завсегдатаями даже с каким-то интересом, все какое-то развлечение. Но и не наливал, как ни просили. Платы с них не дождешься, ради чего убыток терпеть, не из-за жалости же. Да и не осталось к таким жалости, домашних их жалко, баб, ребятишек. Вон у Гришки пятеро, хорошо хоть отец да братья не бросают. А этот любой грош сюда несет. Хорошо хоть Мишка не женат, да и кто за такого пойдет, даже опорки драные до последней возможности. Бабки от нечистой силы в сараях вешают целее.

У трактира остановилась повозка. Из телеги грузно вылез Петруха Скоробитников.

– Гляди-ка, Петруха от сватов и прямоком сюда, – оживился Мишка.

– Видать плохо встретили, раз у кабака лошадь стала.

Петруха заказал себе целый штоф вина.

– Эко, – друзья не отводили глаз от мелькающих чарок.

– Никак случилось что, – подсел Гришка к односельчанину.

– И ты тут, свекольный нос, – Скоробитников с трудом оторвался от разглядывания пятен на грязном столе.

– Да где ж мне быть-то? Дома, сам знаешь, воли нет, все братья к рукам прибрали. Да и батя ругает почем зря.

– А ты бы пореже сюда навевывался.

– Угостишь? – Гришка даже протянул грязную ладонь к штофу.

– Не тронь, – увесистый кулак воткнулся в тощую грудь. Гришка не удержался.

– Почто калечишь? – Подскочил Мишка. Поднял приятеля и усадил за стол Петрухи, – наливай теперь для здоровья.

– Для здоровья? Вам, ребятушки, для здоровья косу бы поострее. Налить? Изволь, только Расскажи мне байку, чтобы думки развеяла.

– Байку? – Гришка даже приосанился, – да что байку, я тебе боль рассказу. Знаешь ли ты, что в этом вот кабаке жила кикимора кабацкая.

– Ишь что придумал, – подошел целовальник, – но сам сел за стол в ожидании интересной истории.

– Да лет двадцать тому история была. Это только говорят, что кикимора, а так – из проклятых.

– Что-то я слышал о кабаке, да теперь-то спокойно все. Вот и не верил.

– Да потому и спокойно, что Васька Силов, что держит постоянный двор в Заречье, вывел.

– Слыхивал про Силова, благочестивый человек, – поддержал Скоробитников.

– Это сейчас такой, а был, ну вроде нас, ему уж и в долг не наливали. Сам мне эту историю и рассказывал. Лет двадцать тому кабак этот недоброй славой пользовался. А уж целовальников сменил – не счесть. Только торг начнут, так всегда недостачи. В откупной конторе только дивились. Целовальники менялись, а прибыли все не было. И каждый из них рассказывал, что ровно в полночь слышат, будто кто сливает вино. Несколько раз, при свете свечки, видели карбыша, который убегал от бочки и скрывался под полом. До того дошло, что откупная контора не могла найти целовальника даже даром, без залога. Тут и Васька подвернулся, пьяница, каких свет мало видывал. Он и согласился.

Да, допился Васька, бедовая головушка. На краденых вещах чуть не сгинул. Мотался из кабака в кабак с рукой протянутой. А дома-то жена да двое ребятишек. Как бы ни нужда, разве согласился бы на место это жуткое? К заброшенному кабаку на трезвую голову и днем подойти боязно. До села версты три, с одной стороны дорога, по которой ночью только лихие люди промышляют, с другой – овраг черной бездной. Под самые стены подобрался, того и гляди, утащит, затащит в тьму болотную. Но пуще людей лихих боялся Васька слухов, что ходили о питейном заведении. В первую же ночь заперся на все запоры, зажег свечку и потягивал чарку за чаркой. И с каждой чаркой все спокойнее становился, бесстрашнее. Ждет полночи. В полночь и правда, будто кто забрался в подсобку и вино цедит. Взял Силов топор, свечку, отворил дверь. Что такое? Кран будто отвернут, а печати целы. Сорвал он тогда печати, стал перемеривать – так и есть: трех ведер не хватает.

Разозлился да как крикнет:

– Черт что ли отлил? Покажись мне. Я вас не боюсь, сам до чертиков допивался сколько раз.

Вдруг видит – половица отодвигается, из-под нее прорастает дерево. Да лихо так, вот уже и верхушка в матицу упирается, ветки да сучки все помещение заняли. Схватил Васька топор и начал рубить. Чувствует, застыл топор в руке, вроде держит кто. И голос:

– Не руби. Я это.

– Кто ты?

– Я тебе скажу. Мы будем друзьями, удачу тебе принесу.

– Да отпусти топор-то, выпить хочу.

– Налей и мне.

– Да как я тебе поднесу, коли не вижу тебя.

– Не могу я тебе показаться, разве когда уходить буду.

Чувствует Силов, что топор отпустило. Пошел за стойку, хотел штоф взять, а голос ему говорит:

– Много не пей. Нам и половинки хватит. Да возьми вон тот, он хороший, не сватанный.

– А этот чем плох?

– Этот тебе подменили, когда мужика обслуживать ходил. Это с дистанции доставщик проверяет. Посмотри дно.

И правда – в дне дырка, воском залеплена. Можно сливать, печати не срывая.

– Верни его, скажи, что торговать намерен честно.

Целовальник налил два стакана, оглянуться не успел – один по воздуху поплыл, опрокинулся, да опять на стол вернулся.

– Ну, брат, спасибо за угощение. Теперь я тебе расскажу, кто я есть. Я – сын богатых родителей. Прокляли меня еще в утробе материнской. Сначала отец ни за что, ни про что, а потом и матушка поклялась мной в нечестивом деле. Она брата батюшкиного убили, чтобы богатством попользоваться. Так и скитаюсь по свету, не нахожу себе пристанища. Уж тридцать лет.

А с тобой давай уговор заключим. Каждый день в полдень и полночь ставь мне по стакану вина и пресную лепешку в чело за заслонку. Тем и сыт буду. А я уж тебе услужу. Только служить тебе буду год, а через год уйду. И ты сразу за мной, иначе проторгуешься.

Не бойся – ни проверочных, ни посыльных, ни дистанционных. Я о них предупрежу. Только и ты, брат, образов не заводи.

Наутро проснулся Васька – день торговый, а он полупьян. Вечером пересчитал прибыль – копеечка в копеечку. С тех пошла у него торговля. И все ему завидовали. Бросил Васька сам пить, знай, денежки копит. Так и год пролетел. Пришла полночь. Прощается с ним нечистый:

– Прощай, брат. Я ухожу. И ты завтра закрывай кабак, уходи отсюда.

– Хорошо. Покажись мне.

– Бери ведро воды, свечку и смотри в отражение.

Смотрит Силов – рядом с его лицом в отражении еще одно лицо появилось. Да такое пригожее: чернобровое, черноглазое, на щеках румянец.

– Какой ты красивый!

– Не родись красив, родись счастлив.

И в тот же миг раздался страшный вопль и крик в печной трубе.

Наутро не послушался Васька, решил поторговать последний денечек. Да тут же и был оштрафован дистанционный на двести пятьдесят рубликов. Тогда забрал он заработанные за год две тысячи и ушел. Купил себе на них постоянный дворик. Живет богобоязненно, благочестиво, в достатке семейство содержит.

Пока слушали рассказ Гришки, подливали ему. Да только он и пить не стал. Умолк. Посмотрел на всех каким-то другим, трезвым, взглядом, подхватил шапку и вон из кабака.

Дрожники

Дрожники – бесы страха, вытягивающие жизнь.

Не все доехали, некоторых потеряли в пути. Как узнали крестьяне Марфино, что купили их на вывоз, умыли землю слезами. Но доля такая подневольная – плачь не плачь, а волю барскую исполняй. Иные и не горевали вовсе, радовались. Особливо те, у которых хозяйство шаткое, кто и северные земли не спешил потом поливать. Хотя поговаривали, что на юге урожаи такие, что во сне не приснится. С десятины зерна – весь год семью кормить хватит да на посевную останется.

«Колос-то колос, что моя рука, – бегал по дворам кривой Фрол, – а зерно, зерно с мой кулак».

Крестьяне не верили, но Фрола слушали охотно. Он один с их деревни в крымскую компанию побывал на юге. Что ему врать-то? Разве в расчете на чарочку? Так и без того нальют, народ отзычив стал. Если уж скотинку не берегут, то не по чарке же плакать.

Бабы были как по покойникам, когда уводили скот на ярмарку. Уж больно жалко было своих коровушек, кормилиц. Шутка ли, разом и корову, и прочую живность. Опустели дворы, лишь подводы сколачивают, правят, чтобы путь дальний выдержать. Не привыкли кочевать, вросли в суровую землю, корни пустили, уж сколько поколений, могилы отцовские здесь, их не увезти.

Дорогу и вспоминать не хотели, тяжело. Умерших хоронили наспех, в пути. Измучились, исстрадались, но до места добрались. Барин прислал управляющего встретить, разместить на первое время в заброшенной усадьбе да пристройках. В Марфино еще холода, зима лютует, а тут уже весна проталинки топят, ручьями поет. Пока размещались общиной, пока печь старую налаживали хлеба проворить – Клим Захарыч, управляющий, провизии привез, мужики уже сбегали по окрестностям. Вернулись довольные: и лесок, и речушка. Стали допытывать Клима Захарыча о домах своих, о бресе на строительство, он лишь отмахивается, мол, завтра все.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.